

Мартин Иден

В романе показан сложный путь к писательской славе парня из рабочей семьи.

Судьбу Мартина определила встреча с Рут - девушкой из богатой семьи, неземным существом, которая горячо полюбила неординарного юношу. Под влиянием любви, близкой к поклонению, Мартин изменяется внешне и внутренне, отходит от людей своего круга и... постепенно понимает ничтожность и мерзость мира своей любимой.

ДЖЕК ЛОНДОН

МАРТИН ИДЕН



Джек Лондон

Мартин Иден

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2011

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2008, 2011

ISBN 978-966-14-2539-1 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:

Л76 Лондон Дж. Собр. соч. [Текст] / научн. ред. и коммент. канд. филол. наук доцента А. М. Гуторова ; худож. А. Печенежский. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2008.

Т. 7 : Мартин Иден : роман. — 416 с. : ил.

ISBN 978-966-343-994-5 (Украина, т. 7).

ISBN 978-966-343-752-1.

ISBN 978-5-9910-0460-2 (Россия, т. 7).

ISBN 978-5-9910-0170-0.

В романе показан сложный путь к писательской славе парня из рабочей семьи. Судьбу Мартина определила встреча с Рут — девушкой из богатой семьи, неземным существом, которая горячо полюбила неординарного юношу. Под влиянием любви, близкой к поклонению, Мартин изменяется внешне и внутренне, отходит от людей своего круга и... постепенно понимает ничтожность и мерзость мира своей любимой.

У романі показано складний шлях до письменницької слави хлопця з робочої родини. Долю Мартіна визначила зустріч з Рут — дівчиною із заможної родини, неземним створінням, яка палко покохала непересічного юнака. Під впливом кохання, близького до поклоніння, Мартін змінюється зовні і внутрішньо, відходить від людей свого кола і... поступово розуміє нікчемність та мерзенність світу своєї коханої.

ББК 84.7США

Мартин Иден

ГЛАВА I

Первый из них открыл дверь своим ключом и вошел; за ним последовал и молодой парень, который тотчас же неловко снял кепку. Грубая одежда, в которой был парень, выдавала в нем моряка. Очутившись в просторном холле, он почувствовал себя явно не в своей тарелке: не знал, куда ему деть кепку, и собирался уже засунуть ее в карман, но тут его спутник взял ее у него из рук. Это вышло у него так естественно и просто, что неуклюжий парень сразу это оценил. «Он понимает, — промелькнуло у него в голове, — он выручает меня».

Юноша шел за своим спутником по пятам, раскачиваясь и инстинктивно расставляя ноги, словно ровный пол под ним то поднимался, то опускался от морской качки. Просторные комнаты, казалось, были слишком тесны для его раскачивающейся походки — он со страхом ожидал, что его богатырские плечи заденут косяк двери или смахнут какие-нибудь безделушки с низкого камина. Он лавировал между различными предметами, увеличивая опасность столкновения, которая на самом деле существовала только в его воображении. Между роялем и столом, стоявшим посреди комнаты и заваленным кипами книг, свободно могли бы пройти шесть человек, но он сделал это с опаской. Его большие руки висели, как плети, и он не знал, куда их деть, не знал, что делать с ногами. От волнения ему показалось, что он сейчас смахнет со стола книги, и шарахнулся в сторону, точно испуганная лошадь, чуть-чуть не наткнувшись на табурет перед роялем. Он начал присматриваться к свободным движениям своего спутника и впервые в жизни сообразил, что его неуклюжая походка не похожа на походку других людей. Его терзало острое чувство стыда от этой мысли. Мелкие капли пота выступили у него на лбу, он остановился и вытер платком свое загорелое лицо.

— Пойдите-ка, Артур, дружище, — сказал он, стараясь шуткой скрыть свое смущение, — это уже чересчур для вашего покорного слуги. Дайте мне прийти в себя. Вы ведь знаете, что мне не очень-то хотелось идти, да и ваши родные, я думаю, не так уж хотят со мной познакомиться!

— Ладно, ладно, — последовал успокоительный ответ, — нас бояться нечего. Мы — люди простые. Ага! Вот мне письмо!

Он подошел к столу, разорвал конверт и стал читать, что дало гостю возможность собраться с духом. И гость это понял и оценил. Он обладал чуткостью и отзывчивостью; несмотря на ощутимое волнение, он начал понемногу успокаиваться. Еще раз обтерев досуха лоб, он посмотрел вокруг, но все-таки во взгляде его было что-то, напоминающее дикого зверя, опасющегося ловушки. Его окружала неизвестность, он боялся какой-то случайности, совершенно не знал, что ему следует делать. Вместе с тем, сознавая свою неуклюжесть и неловкость, он боялся, что это проявляется и при его общении. Он отличался болезненным самолюбием, и лукавый взгляд, который украдкой бросил на него Артур поверх письма, пронзил его, точно удар кинжала. Хотя он и заметил этот взгляд, вида не подал: он давно уже научился сдерживать себя. Но гордость его была сильно задета. Он отругал себя за то, что пришел, но решил, что коль он уж здесь, то должен выдержать все до конца. Черты его лица обострились, в глазах сверкнул сердитый огонек; он стал двигаться непринужденнее, внимательно рассматривая и запоминая все детали окружающей красивой обстановки. Ничто не ускользало от его широко раскрытых глаз. По мере того как он разглядывал эти изящные вещи, из глаз его постепенно исчезал сердитый огонек, сменяясь теплотой и мягкостью. Красота всегда находила отзвук в его душе, а здесь он нашел красоту.

Его внимание привлекла картина, написанная маслом. Могучие волны с грохотом ударялись, рассыпаясь в стороны, о выступающую в море скалу; низко нависшие тучи, предвестницы бури, скрывали небо; вдали, за линией прибоя, виднелась лоцманская шхуна; она шла с зарифленными парусами, сильно накренившись так, что вся ее палуба была видна, как на ладони. Шхуна четко вырисовывалась на фоне зловещего заката. В картине чувствовалась красота, и его неудержимо потянуло к ней. Забыв о своей неуклюжей походке, он подошел к картине как можно ближе. Красота исчезла. На его лице отразилось

недоумение. Он удивленно посматривал на бессмысленные мазки, затем отступил на несколько шагов. Красота вернулась. «Здесь какой-то фокус!» — подумал он и решил больше не обращать внимания на картину. Тем не менее, среди разнообразных впечатлений, переполнявших его, в нем время от времени вспыхивало чувство негодования оттого, что столько красоты принесено в жертву фокусу. Он был совершенно незнаком со способом писания маслом. Он воспитывался на хромолитографиях, на которых рисунок одинаково отчетлив и ясен как издали, так и вблизи. Картины, написанные красками, правда, случалось видеть, но только в витринах, а там стекло мешало удовлетворить его любопытство.

Он оглянулся на приятеля, все еще читавшего письмо, и взгляд его упал на книги, загромождавшие стол. В глазах его появилась жадность, как у голодного при виде пищи. Он невольно сделал шаг к столу и начал с нежностью перебирать книги. Он смотрел на их заглавия, на фамилии авторов, прочитывал отдельные отрывки, лаская тома и взглядом и руками. Раз ему попала книга, которую он уже читал, но в основном это были не знакомые ему произведения неизвестных авторов. Случайно ему попался томик Суинберна, и он начал жадно читать его, забыв о том, где находится. Лицо у него пылало. Дважды он закрывал книжку, заложив пальцем страницу, чтобы посмотреть, кто автор. Суинберн! Он не забудет этого имени. Вот человек, который умел видеть, который понимал, что такое яркие краски, ослепительный свет. Но кто же он такой, этот Суинберн? Умер ли он, как большинство поэтов, лет сто тому назад? А может быть, еще жив и продолжает писать? Он взглянул на первую страницу. Да, он, оказывается, написал еще несколько книг. Надо будет завтра же утром сходить в публичную библиотеку и попытаться раздобыть там еще что-нибудь из его произведений. Он опять с головой погрузился в стихи и не заметил, как в комнату вошла молодая девушка. Неожиданно он услышал голос Артура:

— Рут, это мистер Иден.

Он тотчас же закрыл книгу и повернулся, стора от нового ощущения. Но это ощущение было вызвано не появлением девушки, а фразой ее брата. В мускулистом теле молодого парня жила чуткая душа. Он мгновенно реагировал на малейшие воздействия внешнего мира, и под их влиянием мысли, ощущения и чувства каждый раз

вспыхивали и загорались в нем, как пламя. Он был необычайно восприимчив, и его пылкое воображение ни минуты не знало покоя, жадно отыскивая разницу и сходство между вещами. Слова «мистер Иден» заставили его вздрогнуть от волнения — его, которого всю жизнь звали или просто Иденом, или же Мартином Иденом, или, наконец, еще проще — Мартином. А здесь он оказался «мистером»! «Это ведь не шутка», — подумал он. На одно мгновение его сознание точно превратилось в огромную камеру-обскуру, и перед ним замелькало бесчисленное множество картин из его жизни: машинная топка, трюм, ночи на берегу моря, тюрьма, кабаки, больница, городские трущобы; с каждым из этих мест у него ассоциировалось воспоминание об определенной форме обращения к нему.

Повернувшись, он увидел девушку. При виде ее исчезла вся фантазмагория, возникшая в его памяти. Это было бледное, воздушное существо, с одухотворенными большими голубыми глазами и пышными золотистыми волосами. Во что она была одета, он не понял; он сознавал только, что платье ее так же необыкновенно, как она сама. Он мысленно сравнил ее с бледно-золотистым цветком на хрупком стебле. Впрочем, нет: скорее это дух, божество, богиня — в ее возвышенной красоте было что-то неземное. Или, может быть, правду пишут в книгах, авторы которых утверждают, что в высших слоях общества много женщин, подобных ей? Она достойна того, чтобы ее воспевал этот... как его?.. Суинберн. Быть может, он и думал о ком-нибудь похожем на нее, когда описывал свою Изольду, как там, в той книжке, которая лежит на столе. Все эти мысли и ощущения в одно мгновение пронесли у него в голове, между тем как внешние события шли своим чередом. Он увидел, как, крепко пожав ему руку, она прямо, как мужчина, посмотрела ему в глаза. Женщины, которых он знал раньше, так не здоровались; собственно говоря, большинство из них и руку-то не подавали. Целый вихрь картин, воспоминаний о знакомствах и встречах с женщинами, начинавшихся всегда по-разному, все это мгновенно пронеслось у него в голове, грозя захлестнуть все остальное. Но он отогнал эти мысли и устремил взгляд на нее. Никогда еще он не видел подобной женщины. А те, которых он знал раньше?.. В одно мгновение он в своем воображении увидел ее, а рядом с ней — тех женщин, которых знал раньше. В течение одной секунды, длившейся целую вечность, он стоял в центре портретной

галереи, где центральное место занимала она, а вокруг расположилось множество других женщин; всех их можно было оценить тут же, сравнив с ней. Он увидел безжизненные, болезненные лица фабричных работниц, лица жеманничающих, наглых обитательниц южного района. Промелькнули перед ним и женщины из лагерей ковбоев, и смуглые, с сигаретами в зубах жительницы Старой Мексики. Затем их сменили другие образы: похожие на куклы японки, выступающие мелкими шажками на высоких деревянных сандалиях; евразийки[1], с нежными чертами лица, на которых лежит печать вырождения; полногрудые смуглые женщины с тихоокеанских островов с венками из цветов. И всех их вытеснила уродливая, ужасная, кошмарная толпа растрепанных, жалких созданий с улиц Уайтчепела, пропитанных джином мегер из публичных домов, и вереницы гарпий, грязных, ругающихся подобий женщин, которые присасываются, как пиявки, к матросам, — этих отбросов населения портов, этой тины и накипи, всплывающей со дна человеческой жизни.

— Присядьте, мистер Иден, — обратилась к нему девушка. — Мне так хотелось познакомиться с вами после того, как Артур рассказал нам обо всем. Вы проявили такую храбрость...

Он сделал отрицательный жест рукой и пробормотал, что это ерунда и что любой на его месте поступил бы точно так же. Она заметила, что его рука покрыта свежими, только начинающими заживать ссадинами; тогда она мельком взглянула на другую, опущенную вниз руку, и увидела, что и она пострадала. Окинув его быстрым критическим взглядом, она подметила шрам на щеке, второй — на лбу под волосами, и третий на шее, отчасти скрытый крахмальным воротничком. При виде красной полоски, натертой воротничком на бронзовой коже, она с трудом удержалась от улыбки: ясно, что он не привык носить крахмальный воротничок. Как настоящая женщина, она сразу обратила внимание на дешевый, немодный покрой его костюма, на поперечные складки на спине и заметила, что рукава морщат, выдавая солидные бицепсы.

А он, между тем, решил послушаться ее и сесть. При этом он еще успел полюбоваться изяществом, с которым опустилась в кресло она; сам он неуклюже уселся против нее, смущаясь из-за своей неловкости. Для него это было совершенно новое ощущение. До сих пор он никогда не задумывался над тем, изящны или неуклюжи его движения;

ему и в голову не приходили подобные мысли. Он осторожно опустил на край кресла, но не знал, куда деть руки; как бы он ни усаживался, они все, казалось, мешали ему. Артур вышел из комнаты, и Мартин Иден с завистью посмотрел ему вслед. Он почувствовал, что пропадет, оставшись наедине с этим бледным духом. Около него не было хозяина кабака, которому можно было бы крикнуть: «Эй, стаканчик!», не было мальчишки, которого можно было бы послать на угол за пивом, чтобы при помощи этого напитка — основы всякого общения — вступить в приятельскую беседу.

— У вас шрам на шее, мистер Иден, — сказала девушка. — Как это случилось? Я уверена, что с ним связано какое-то приключение.

— Мексиканец ножом, мисс, — ответил он, слегка откашливаясь и проводя языком по запекшимся губам. — Во время драки. А когда я отнял у него нож, он хотел откусить мне нос.

Хотя он дал лишь короткий ответ, перед его мысленным взором в это время пронеслась яркая картина: жаркая, звездная ночь в Салина-Круц, белая прибрежная полоса, огни нагруженных сахаром пароходов в порту, доносящиеся издали голоса пьяных матросов, толкотня грузчиков; горящее злобой лицо мексиканца, звериный блеск его глаз, боль в шее, когда в нее вонзилась сталь, поток крови, орущая толпа, а затем два тела, его и мексиканца, которые, сцепившись, покатались по земле, взрывая песок; а в это время где-то вдали раздавалось нежное треньканье гитары. Да, вот что это была за картина, и при этом воспоминании его охватила внутренняя дрожь. «Интересно знать, мог бы нарисовать ее тот человек, который изобразил лоцманскую шхуну там, на стене?» — подумал он. Белый пляж, звезды и огни грузовых пароходов — все это, казалось ему, должно бы хорошо получиться на полотне, а в центре картины, на фоне песка, можно было бы изобразить группу пьяных фигур, окружающих борцов. «И нож здесь будет к месту, — решил он, — когда на нем блеснет свет звезд». Но из всего этого он сказал лишь:

— Он хотел откусить мне нос.

— О! — воскликнула девушка каким-то слабым, словно детским голосом, и он заметил по ее выразительному лицу, что она глубоко поражена.

Он и сам почувствовал смущение, и сквозь загар на его смуглых щеках выступил едва заметный румянец; ему, впрочем, казалось, что

лицо у него горит так, точно он долго стоял у открытой машинной топки. Очевидно, такие низменные вещи, как поножовщина, драка, не могут быть подходящей темой для разговора с дамой. В книгах, например, люди из ее общества никогда не разговаривают о подобных вещах. Впрочем, они, быть может, вовсе не знают, что такие вещи существуют.

Только что начавшийся разговор оборвался. Она сделала новую попытку — спросила его о шраме на щеке. Он тотчас же почувствовал, что она подстраивается к нему, и решил, что попытается разговаривать с ней на ее языке.

— Это просто несчастный случай, — сказал он, дотрагиваясь рукой до щеки. — Как-то раз ночью при мертвом штиле, но при сильной зыби снесло главную рею со всеми снастями. Проволочный трос извивался во все стороны, как змея, а вся команда ловила его. Я тоже сунулся, да и зачалил его...

— О! — воскликнула она таким тоном, словно отлично все поняла. На самом же деле его слова казались ей непонятной тарабарщиной; ее очень интересовало, что такое «рея» и как можно «зачалить» трос.

— Этот вот... Суайнберн, — продолжал он, желая осуществить свое намерение, но неправильно произнес первый слог в фамилии поэта.

— Кто?

— Суайнберн, — повторил он, делая ту же ошибку. — Поэт.

— Суинберн, — поправила она.

— Ну да, он самый, — пробормотал он и опять почувствовал, что у него горят щеки. — Давно ли он умер?

— А я и не знала, что он умер! — она с любопытством посмотрела на него. — Где вы с ним познакомились?

— И в глаза его не видел, — последовал ответ. — Но перед вашим приходом я прочел несколько его стихотворений в той книжке, вон там, на столе. Вам нравятся его стихи?

Она тотчас же легко и свободно подхватила эту тему — тему, подсказанную им. Он тоже почувствовал облегчение и уселся глубже в кресло, крепко ухватившись за его ручки, точно боялся, что оно ускользнет из-под него и сбросит его на пол. Наконец-то ему удалось направить ее на привычную ей тему; она заговорила быстро и просто, а он старался понять ее, изумленный тем объемом знаний, которые

вмещала ее хорошенькая головка, упиваясь прелестью ее бледного личика. Мысли ее он схватывал, хотя порой его сбивали с толку незнакомые слова, легко слетающие с ее уст, а также ее критические суждения; ее мысли были чужды ему, но все же ее слова давали толчок его уму и заставляли его работать.

Вот она, умственная жизнь, подумал он, вот она красота, яркая, чудесная красота, о которой он никогда и не мечтал. Он забыл все окружающее и жадными глазами впился в нее. Да, вот нечто, ради чего стоит жить, чего стоит добиваться, за что есть смысл бороться, — и даже умереть. Книги говорили правду. В мире действительно существовали подобные женщины. Перед ним была одна из них. Она окрыляла его воображение: перед его глазами проносились огромные светлые картины, на которых смутно вырисовывался гигантский образ романической любви, героические подвиги ради женщины, — ради бледной, похожей на золотистый цветок, женщины. Но сквозь это колеблющееся, туманное видение, как сквозь волшебное стекло, он видел живую женщину, которая сидела перед ним и разговаривала о литературе и искусстве. Он прислушивался к ее словам и пристально глядел на нее, сам не сознавая, что не отрывает от нее глаз и что в его взгляде ярко отражается вся мужская сущность. И она, так мало знавшая мужчин, мучительно ощущала на себе его горящий взгляд. Никогда еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и это ее смущало. Она запнулась и потеряла нить разговора. Он пугал ее, но вместе с тем ей было как-то удивительно приятно, что он так смотрит на нее. Ее воспитание подсказывало, что здесь кроется какая-то опасность, какое-то коварное, неуловимое, таинственное обаяние, но инстинкт бурно восстал против этого, побуждая ее сбросить с себя все условности; ее влекло к этому страннику из чуждого ей мира, к этому неуклюжему парню с израненными руками и красной полоской на шее, натертой непривычным воротничком, к этому человеку, несомненно развращенному грязью грубой жизни. Сама она была чиста; и эта ее чистота бунтовала против него, но она была женщиной и впервые начинала познавать всю парадоксальность своей женской природы.

— Как я сказала... да, о чем это я говорила? — Она резко оборвала фразу и сама засмеялась из-за своей забывчивости.

— Вы говорили, что этому Суинберну не удалось стать великим поэтом потому, что... на этом вы и остановились, мисс, — подсказал

он. Ему казалось, что он словно испытывает какую-то жажду, а при звуке ее смеха у него по спине пробежала приятная дрожь. «Точно серебро, — подумал он, — совсем как серебряный колокольчик», — и тотчас же на мгновение перенесся в далекую страну; ему почудилось, что он сидит под вишней, покрытой розовыми цветами, и курит, прислушиваясь к колокольчикам, призывающим в остроконечную пагоду обутых в соломенные сандалии паломников...

— Да, да, благодарю вас, — ответила она. — Суинберну это, в сущности говоря, не удалось, потому что он... потому что он груб. Многие из его стихов вовсе не стоило бы читать. У настоящих великих поэтов каждая строчка — прекрасная истина, взывающая ко всему, что есть благородного и возвышенного в человеческой душе. Ни одной строчки нельзя выкинуть из произведений великих поэтов — от этого мир стал бы беднее.

— А мне это показалось великим... то немногое, что я читал, — неуверенно проговорил он, — я и не подозревал, что он такой... так плох. Наверное, это видно по другим его сочинениям?

— И из той книжки, которую вы сейчас читали, можно было бы выкинуть многое, — безапелляционно заявила она авторитетным тоном.

— Должно быть, я их как-то пропустил, — отозвался он. — То, что я прочел, было действительно хорошо. Эти стихи словно пронизаны светом, который проник мне прямо в душу и всю ее осветил, точно солнце или прожектор какой. Вот как он на меня подействовал, но я, видно, плохой судья, что касается стихов, мисс.

Он как-то неловко умолк, смущенный и огорченный своим неумением изъясняться. В отрывке, только что им прочитанном, он почувствовал величие и трепет настоящей жизни, но не мог этого высказать. Он не умел выразить то, что чувствовал. Он сравнивал себя с матросом, который очутился бы в темную ночь на чужом корабле и ощупью разобрался бы в незнакомых ему снастях. Ну, что же, решил он, ведь от него самого зависит, как войти в этот новый для него мир. Еще не было той вещи, которой он при желании не научился бы. Теперь, видно, пришла пора учиться высказывать все то, что у него в душе, высказывать так, чтобы она понимала его. Она уже закрывала собой весь его горизонт.

— Вот Лонгфелло... — начала она.

— Да, я читал, — с живостью перебил он, желая показать ей, что и он как-то знаком с книгами, что и он не круглый невежда. — «Псалом жизни», «Эксцельсиор» и еще... да, кажется, вот и все.

Она кивнула головой и улыбнулась; почему-то он почувствовал в этой улыбке снисхождение — снисхождение и жалость. Как глупо было с его стороны хвастаться своей начитанностью. Верно, этот Лонгфелло написал еще кучу всяких стихов.

— Простите меня, мисс, что я вас так перебил. Я, видно, попросту ничего в этих вещах не смыслю. У нас, в простонародье, про них не знают. Но я добьюсь того, что хоть один простой человек научится этому.

В его словах звучало нечто вроде угрозы. В голосе слышалась решительность, в чертах лица появилась какая-то резкость. Ей показалось, что даже подбородок у него как-то изменился: в нем чувствовалось что-то неприятно угрожающее. Но вместе с тем от него повеяло на нее чисто мужской силой.

— Я думаю... что вы добьетесь этого, — закончила она и рассмеялась. — Вы сильный человек.

Взгляд ее на мгновение остановился на его мускулистой шее, с выступающими жилами, — на этой, почти бычьей шее, потемневшей от солнца, свидетельствующей о здоровье и силе. И хотя он сидел в эту минуту смущенный, с покрасневшим лицом, она вновь почувствовала, что ее тянет к нему. В голове у нее мелькнула мысль, которой она сама изумилась. Ей вдруг показалось, что если она обнимет эту шею, вся его сила и мощь передадутся ей. Она сама ужаснулась этому своему желанию. Оно словно доказывало ее бессознательную, скрытую порочность. К тому же физическая сила всегда казалась ей чем-то грубым, животным. Ее идеалом мужской красоты было утонченное изящество. И в то же время она никак не могла отделаться от этой мысли. Она сама не понимала, как у нее могло появиться желание обнять эту загорелую шею. В сущности, она была слаба и ей недоставало силы. Впрочем, она этого не сознавала. Она знала только одно: еще никто никогда так на нее не действовал, как этот человек, ежеминутно шокировавший ее своей неправильной речью.

— Да, хилым меня никто не назовет. Если понадобится, я могу и железо переварить. Но сейчас у меня что-то вроде несварения. Многое

из того, что вы говорили, я никак переварить не могу. Ведь меня, понимаете, этому не учили. Я люблю читать, люблю стихи, и когда у меня бывало свободное время, я читал, но никогда не задумывался над прочитанным, вот как вы. Поэтому я и разговаривать о книгах не умею. Я словно человек, пустившийся в плавание по незнакомому морю без компаса и карты. А теперь мне захотелось узнать, где я нахожусь. Может быть, вы поможете мне? Скажите мне, откуда вы-то сами узнали все, про что сейчас говорили?

— Я ходила в школу, разумеется, и сама училась, — ответила она.

— Да и я маленьким в школу ходил, — возразил он.

— Да, но я имею в виду высшую школу, лекции, университет.

— Вы учились в университете? — спросил он с нескрываемым удивлением, почувствовав, что она отдалилась от него еще на целые миллионы миль.

— Я еще и не окончила его. Слушаю специальный курс филологии.

Он не знал, что такое «филология», но, мысленно отметив свое невежество, продолжал:

— А сколько времени мне пришлось бы учиться для того, чтобы поступить в университет?

Она ободряюще улыбнулась.

— Это зависит от того, много ли вы уже знаете. Вы в средней школе не были? Ну, конечно, нет. А окончили ли вы начальную?

— Мне еще два года оставалось, когда я ушел, — ответил он. — Но учился я всегда хорошо.

И тотчас же он сам на себя рассердился за хвастовство и так впился в ручки кресла, что у него даже заныли пальцы. В тот же миг он увидел, что в комнату вошла женщина. Молодая девушка тотчас же встала и быстро направилась ей навстречу. Они поцеловались и, обнявшись, подошли к нему. «Наверное, ее мать», — подумал он. Это была высокая блондинка, стройная, величественная, красивая. Ее платье, как и следовало ожидать, соответствовало обстановке. Изящные его складки радовали взоры Мартина. И женщина эта, и одежда ее напоминали ему актрис, которых он видел на сцене. Затем он вспомнил, что видел еще таких же важных дам, в таких же платьях, у подъездов лондонских театров; сам он в это время стоял на панели и глазел на них, пока полицейский не выгонял его из-под навеса на мостовую, под дождь. Затем в его воображении пронеслась другая

картина: «Гранд-отель» в Йокохаме, где он тоже издали наблюдал важных дам. И тут же перед ним целой вереницей замелькали виды Йокохамы — города и порта. Но он тотчас прогнал от себя этот калейдоскоп картин: ему нужно было подумать о настоящем. Он знал, что должен встать, чтобы быть представленным хозяйке дома, смущенно поднялся с места; брюки его оттопыривались на коленях, руки беспомощно висели, придавая ему комичный вид, но на лице его появилось выражение твердой решимости как-нибудь перенести предстоящую ему пытку.

ГЛАВА II

Процедура перехода в столовую стала для него настоящим кошмаром. Он столько раз останавливался и спотыкался, словно его дергало или бросало из стороны в сторону, что чуть было совсем не потерял надежды благополучно дойти. Но попытка все-таки окончилась, и он оказался за столом рядом с ней. Его испугало количество разложенных ножей и вилок. В них таилась какая-то неведомая опасность; он смотрел на них, словно зачарованный, пока их блестящая поверхность не превратилась, наконец, в фон, по которому целой вереницей потянулись картины из его жизни на судах. Он видел себя и своих товарищей за едой: они резали солонину карманными ножами и пальцами отправляли ее в рот или же хлебали гнутыми жестяными ложками густой гороховый суп из котелков. Он словно чуял вонь тухлой говядины и слышал громкое чавканье соседей, раздававшееся под аккомпанемент скрипа мачт и переборок. Он мысленно смотрел на товарищей и решил, что они едят, как свиньи. Но здесь он последит за собой. Чавкать не будет. Только бы не забываться.

Он окинул взглядом стол. Против него сидели Артур и второй брат, Норман. «Ее братья!» — подумал он и у него возникло к ним теплое чувство. Как они любят друг друга, члены этой семьи! Он вспомнил, как вошла в комнату ее мать и как они обе шли, обнявшись. В том мире, где он жил, ему не приходилось видеть таких проявлений любви между родителями и детьми. Это было для него откровением, показывавшим, какой высоты достигла жизнь высших слоев общества. Это было самое прекрасное из всего, что он видел в этом мире, куда ему только что удалось заглянуть. Его растрогала эта нежность, душа его была преисполнена симпатии и тепла. Всю жизнь он жаждал любви. Его натура требовала этого. Он органически в ней нуждался. А между тем ему пришлось обходиться без нее — и это его ожесточало. Он до сих пор сам не признавал, что любовь ему необходима, да и сейчас еще не понял этого. Он только видел проявление любви и

почувствовал трепет в душе — так это было прекрасно, возвышенно, чудесно.

Он был рад, что мистер Морз отсутствует. И без того он испытывал страх, когда пришлось знакомиться с ней, ее матерью и с ее братом Норманом (Артура он уже немного знал). Он чувствовал, что будь тут еще отец, он не выдержал бы. Ему казалось, что еще никогда в жизни он не выполнял такой тяжелой работы. Самый каторжный труд — и тот был бы детской игрой в сравнении с этим. На лбу у него выступили капельки пота, а рубашка его от напряжения и усилия делать одновременно множество непривычных ему вещей была мокрой, хоть выжимай. Ведь ему нужно было есть так, как он никогда в жизни не ел, пользоваться незнакомыми приборами, украдкой поглядывать на соседей и учиться у них, как поступать; вместе с тем на него обрушился целый поток новых впечатлений, которые нужно было отмечать и классифицировать, а в душе у него росло влечение к ней, выражавшееся каким-то ноющим беспокойством, и при этом он чувствовал острое желание стать похожим на людей ее класса. Мысли его все время отвлекались и возвращались к вопросу, каким путем добиться ее. Кроме того, когда взгляд его падал на Нормана или на кого-нибудь другого из присутствующих (он все время посматривал на них, чтобы знать, за какую вилку или за какой нож взяться), черты лица этого человека запечатлевались у него в мозгу, и он невольно стремился дать ему оценку и угадать, каковы их отношения. К тому же ему нужно было разговаривать, слушать то, что ему говорят, и те замечания, которыми обмениваются остальные, да еще отвечать, когда это требовалось, при этом все время внимательно следить за собой, чтобы не ввернуть какое-нибудь неподходящее словцо. Вдобавок его бесконечно смущал слуга — беспрестанная угроза, вдруг бесшумно выраставшая рядом с ним, истый сфинкс, задававший загадки, которые нужно было разгадывать немедленно. В течение всего обеда его угнетала мысль о предстоящем появлении полоскательниц для рук. Эта мысль упорно и некстати возвращалась к нему множество раз. «Когда же их принесут и на что они похожи?» — думал он. Он слышал, что существуют подобные штуки, и ждал, что он вот-вот увидит их; ведь он сидит за столом с возвышенными существами, употребляющими также необыкновенные вещи, больше того, он сам сейчас должен будет обмакнуть пальцы в такие сосуды. А где-то

глубоко в душе таился еще, постоянно всплывая на поверхность, важнейший из всех вопросов: как ему держаться с этими людьми? Как себя вести? Этот вопрос неотступно мучил его. То у него появлялось малодушное желание притвориться, сыграть какую-то роль; то затем, на смену этому желанию, приходила еще более беспомощная мысль, что он не сумеет выдержать этой роли, это совершенно не свойственно его природе и что он только окажется в дураках.

В начале обеда он сидел очень тихо: он еще не решил, как держать себя. Он не подозревал, что его спокойствие опровергает слова Артура, сказавшего накануне родным, что на следующий день приведет к обеду дикаря, но чтобы это их не шокировало, так как дикарь этот очень интересен. Мартин Иден в эту минуту ни за что бы не поверил, что ее брат способен на подобное вероломство, особенно после того, как он, Мартин, выручил его из такой опасной драки.

Он сидел за столом, смущаясь своей неловкостью, и в то же время восхищенный всем окружающим. Впервые в жизни он понимал, что еда может быть не только простым актом утоления голода. Раньше он никогда не замечал, что ест. Для него это была просто пища. Но здесь, за этим столом, где еда являлась эстетическим процессом, он мог удовлетворить свое чувство прекрасного. Мозг его горел. Он слышал непонятные слова и такие, которые встречал только в книгах и которые никто из знакомых ему мужчин или женщин не произносил вследствие недостатка воспитания. Когда он слышал, как все члены этого удивительного семейства — ее семейства — небрежно произносят такие слова, он чувствовал, что весь дрожит от восторга. Значит, книги, где говорилось, что существует на свете красота, романтика, увлекательная жизнь, писали правду. Он находился в блаженном состоянии человека, который видит, как осуществляются его самые фантастические мечты.

Никогда еще он не возносился на такие высоты. Он старался стусеваться, слушал, наблюдал и наслаждался, давая лишь односложные ответы: «да, мисс», «нет, мисс», когда говорил с ней, и «да, мэм» или «нет, мэм», когда говорил с ее матерью. По привычке к морской дисциплине ему все время хотелось ответить и ее брату: «да, сэр» или «нет, сэр», но он удерживался, чувствуя, что этого не следует делать, ибо он сам признался бы, что стоит ниже его. И это только помешает ему впоследствии добиваться ее. К тому же в нем

заговорила гордость. «Черт возьми! — мысленно восклицал он. — Я ничуть не хуже их. Если они и знают кучу вещей, которых не знаю я, то ведь и я могу научиться!» Но стоило ей или ее матери обратиться к нему, называя его «мистер Иден», как тотчас же исчезала вся его гордость и строптивость и он весь трепетал от восторга. Ведь он культурный человек и сидит за одним столом с теми людьми, о которых до сих пор только читал в книгах! Он сам в собственных глазах превратился в персонажа из романа, и порой ему казалось, что он странствует по печатным страницам переплетенных томов.

Но, опровергая своим поведением характеристику Артура и проявляя себя скорее кротким ягненком, чем диким львом, Мартин мучительно ломал себе голову над тем, как ему дальше держать себя. Ведь на самом деле он далеко не кроткий ягненок, и играть вторую скрипку вовсе не было свойственно его живой натуре. Он открывал рот лишь тогда, когда это было необходимо, и речь его звучала так же неуверенно, как неуверенна была его походка в этих комнатах: он останавливался, запинался, искал слова в своем лексиконе, представлявшем собой смесь разных жаргонов, боялся, что не сумеет произнести то или иное подходящее выражение, или не решался выговорить другое, чувствуя, что его не поймут, или что оно покажется слишком резким и грубым. При этом он все время сознавал, что это тщательное подбирание слов делает его смешным, мешает ему выразить все то, что у него на душе. Его любовь к свободе протестовала против этих ограничений так же, как протестовала его шея против надетой на нее колоды в виде крахмального воротничка. Он был уверен, что не сумеет долго так выдерживать. От природы в нем были заложены здравый смысл и сильные чувства, и творческий дух беспокойно и настойчиво искал себе выхода. Когда какое-нибудь представление или ощущение овладевало им, он мучительно старался воплотить его в слова, выразить его — и тогда он забывал, где находится, и у него вырывались привычные восклицания и выражения.

Как-то раз, когда ему надоел что-то предлагавший ему лакей, он громко и резко сказал ему:

— Пфа!

Все присутствующие тотчас же насторожились; лакей нахально ухмыльнулся, а Мартин готов был провалиться сквозь землю. Впрочем, он быстро сориентировался.

— Это гавайское слово, оно значит: «хватит», — объяснил он. — Оно как-то невольно вырвалось у меня.

В это мгновение он заметил, что она с любопытством разглядывает его руки. По инерции он продолжал:

— Я только что приехал на одном из тихоокеанских пароходов. Он пришел сюда с опозданием, и потому нам пришлось во всех портах работать, как неграм, чтобы скорее нагрузиться. А груз-то у нас был смешанный — если вы только понимаете, что это значит. Вот и руки у меня все в ссадинах.

— Да я вовсе не об этом думала, — в свою очередь поспешно оправдывалась она. — Мне кажется, что для такого крупного мужчины руки у вас маловаты.

Он вспыхнул, приняв это как замечание о физическом недостатке.

— Да, — огорченно сказал он. — Они не всегда выдерживают напряжение. Зато в плечах я силен, как мул, слишком даже силен: как хвачу кого-нибудь по зубам, так и руки у меня обязательно пострадают.

Но он тотчас же пожалел о сказанном и почувствовал отвращение к самому себе. «Распустил язык и начал болтать всякую чушь!»

— Какой вы храбрый: пришли на помощь Артуру, совсем незнакомому человеку! — тактично проговорила она, чувствуя его смущение, но не догадываясь о его причине.

Он тотчас же понял, что она старается его выручить, и горячее чувство благодарности охватило его. Под влиянием этого чувства он опять потерял контроль над собой.

— Ерунда, — сказал он. — Как было не помочь парню? Эти хулиганы так и выискивали, к чему бы придраться, а Артур вовсе их не трогал. Они ни с того ни с сего накиннулись на него, а тут уж и я на них налетел да и проучил их. От этого у меня руки тоже немножко пострадали — зато я не один зуб им вышиб. Я ужасно рад этому. Когда я вижу...

Он так и застыл с открытым ртом, сознавая всю свою ничтожность и чувствуя себя недостойным дышать одним воздухом с ней. Артур, между тем, в двадцатый раз рассказывал о своем столкновении с пьяными хулиганами на пароме и о том, как Мартин Иден бросился к нему на помощь и спас его. Сам же Мартин в это время сидел, насупив брови, думая о том, что он опять сделался общим посмешищем, и вновь пытаюсь разрешить вопрос, как же ему вести себя с этими

людьми. Ясно, что он не сумел поставить себя как следует. Сразу чувствовалось, что он слеплен из другого теста и не может говорить их языком. Так он мысленно рассуждал. Не умеет он под них подделаться, притворяться не к чему, да к тому же притворяться и не в его характере. Обман, лицемерие — все это не для него. Будь что будет, но он должен оставаться самим собой. Правда, он теперь еще не умеет правильно разговаривать, но он научится — только дайте срок. Это он твердо решил. А пока он не станет молчать, но будет говорить по-своему, разумеется, выбирая слова, чтобы они понимали его и чтобы не слишком уже шокировать их. А кроме того, он не будет делать вид, что знает то, что ему на самом деле неизвестно, и даже не станет молчанием вводить их в заблуждение. Поэтому, когда братья, разговаривая об университетских делах, несколько раз произнесли слово «триг», Мартин Иден спросил:

— А что такое «триг»?

— Тригонометрия, — ответил Норман. — Одна из отраслей «мат».

— А что такое «мат»? — последовал вопрос, вызвавший у Нормана легкую усмешку.

— Математика — арифметика, — был ответ.

Мартин Иден кивнул головой. Он заглянул в беспредельную область знания. Виденное им начинало теперь принимать определенную форму и превращаться силой яркого воображения из отвлеченного представления в нечто конкретное. Тригонометрия, математика и вся та отрасль знания, к которой они относились, превратилась в лаборатории его мозга в какой-то особый пейзаж. Он видел уходящие в бесконечность зеленеющие просеки, лесную чащу, озаренную мягким светом или же прорезанную яркими лучами. Смутно вырисовывалась даль, окутанная пурпурной дымкой; но за этой дымкой скрывалось, он знал, таинственное, неведомое, прекрасно романтическое. Это видение опьяняло его, как вино. Перед ним расстилался мир, полный приключений, где найдется работа и для мозга, и для рук, — мир, который нужно было завоевать. И тотчас же в глубине подсознания у него шевельнулась мысль: «Завоевать его, чтобы завоевать ее, бледную, как лилия, девушку, сидевшую рядом с ним».

Однако Артур, все время мечтавший продемонстрировать родным дикаря, рассеял своими расспросами лучезарное видение. Мартин

Иден вспомнил о своем решении. Впервые за весь вечер он стал самим собой; сначала он это делал сознательно и преднамеренно, но вскоре радость творчества заставила его забыть все окружающее: он с восторгом описывал ту жизнь, которую знал, воплощая ее в живые образы перед своими слушателями. Он был матросом на контрабандистской шхуне «Алкион», когда ее захватил таможенный катер. Он умел видеть и умел передать виденное. Перед его слушателями развернулись картины бурлящего моря, судов, плавающих по нему, и людей, находящихся на этих судах. Он сумел заразить слушателей своей способностью видеть, так что и им все эти картины представлялись воочию. Как настоящий художник, он выбирал из массы подробностей только нужные, рисовал картины из жизни яркие и красочные, полные движения, и увлекал за собой слушателей своим грубоватым красноречием, силой слова и энтузиазмом. Порой он шокировал их откровенной реальностью описаний или резкими выражениями, но в речи его была не только грубость, но и красота, трагизм смягчался юмором и анекдотами, иллюстрировавшими оригинальное мировоззрение матросов.

Пока он говорил, молодая девушка не отрывала от него удивленного взгляда. Огонь, которым он горел, передался и ей. Ей показалось, что она до сих пор жила в каком-то холодном, обледенелом царстве. Ей хотелось прильнуть к этому полному внутреннего пламени человеку, от которого веяло мощью, как от вулкана, извергающего потоки лавы, — веяло силой и здоровьем. Она испытывала желание опереться на него и сдерживалась лишь усилием воли. Но вместе с тем что-то отталкивало ее от него: его израненные руки, огрубевшие от тяжелой работы так, что в них, казалось, въелась вся житейская грязь; красная полоска, натертая воротничком, выпуклые мускулы. Его грубость внушала ей страх. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух, каждая грубая подробность в его рассказах оскорбляла ее чувства. Но минутами ее так безумно тянула к нему, ей казалось, какая-то дьявольская сила. Все устои жизни, в которые она привыкла верить, заколебались. Дух приключений, который наполнял его, начинал подрывать привычные ей условности. Под влиянием его пренебрежения к опасности, его юмора менялся ее взгляд на жизнь: она уже казалась ей не серьезным и трудным делом, а игрой, мячиком, которым можно было небрежно швыряться ради развлечения, чтобы в

конце концов так же небрежно отбросить его прочь. «И потому играй, пока можешь! — звучало у нее в душе. — Прижмись к нему, если тебе этого хочется, и обними его за шею!» Смелость этой мысли так ужаснула ее, что она чуть не закричала; тщетно цеплялась она за собственную чистоту и культуру, за все то, чем обладала она и что отсутствовало у него. Она оглянулась вокруг и увидела, что все присутствующие слушают его с вниманием, всецело поглощенные его словами; она готова была прийти в отчаяние, если бы не увидела в глазах матери выражения ужаса, смешанного с очарованием, но все-таки ужаса. Значит, правда, что в этом человеке, вынырнувшем из тьмы, есть злое начало. Это чувствовала ее мать, а она ошибаться не могла. Она и на этот раз должна была поверить матери, как всегда верила ей во всем. Его внутренний огонь уже перестал воспламенять ее, и страх перед ним уже не сжимал ей сердца.

А потом она села за рояль и играла ему, демонстративно играла для него, в смутной надежде подчеркнуть, как непроходима пропасть между ними. Игра ее была оружием — тяжелой палицей, которой она грубо наносила ему удары; но эти удары, хотя они и ошеломляли, и подавляли его, вызывали в нем вместе с тем жажду борьбы. С благоговением он смотрел на нее. И в его представлении пропасть между ними теперь казалась шире; но чем больше она росла, тем сильнее ему хотелось перекинуть через нее мост. Однако его отличала слишком живая реакция и сильная впечатлительность, чтобы сидеть весь вечер и мысленно созерцать пропасть, особенно слушая музыку. Музыка необычайно сильно действовала на него. Она опьяняла его, точно крепкий напиток, под ее влиянием обострялись чувства; музыка, как наркотик, всецело овладевала его воображением и уносила его куда-то ввысь, в небеса. Под ее звуки он забывал всю серость жизни; душа его наполнялась красотой, стремлением ко всему романтическому, словно окрылялась. Ту музыку, которую он теперь слышал, он не понимал — так не похожа она была на пиликанье рояля на танцульках и на рев привычных для него оркестров. Но в книгах он читал о подобной музыке и теперь принимал на веру искусство Рут. Сначала он все ждал, что услышит наивную мелодию с резко определенным ритмом, но мелодия эта длилась лишь на протяжении нескольких тактов, и это приводило его в недоумение. Не успевал он схватить ее и унести на крыльях воображения, как она пропадала,

утонув в каком-то хаосе звуков, казавшемся ему бессмысленным; воображение его тотчас же прекращало свой полет, и он опять возвращался на землю.

На миг ему даже пришло в голову, что молодая девушка насмеяется над ним. Он почувствовал в ней какую-то враждебность и старался угадать, что хотят сказать ее руки, бегающие по клавишам. Но он тотчас же отбросил это предположение как нечто невозможное, недостойное ее, и вновь весь отдался музыке. Опять вернулось прежнее блаженное состояние. Ноги его словно отделились от земли, он не чувствовал своего тела, казалось, он стал духом; в глазах у него стояло какое-то лучезарное сияние; все окружающее исчезло, и он унесся куда-то далеко, на край земли — родной, дорогой его сердцу земли. И знакомое, и неведомое сплелись вместе в дивные мечты, выстраивающиеся перед его мысленным взором. Он переносился в незнакомые порты каких-то солнечных стран, блуждал по рынкам, окруженный толпой невиданных дикарей. До него доносился запах пряностей, который он ощущал, подплывая к южным островам в теплые безветренные ночи; в течение долгих, бесконечных дней под лучами тропического солнца он боролся с юго-восточным пассатом, плыл мимо увенчанных пальмовыми рощами коралловых островов, погружавшихся позади судна в бирюзовые волны моря, между тем, как впереди из той же бирюзовой глади вырастали новые коралловые островки, также увенчанные пальмами. Быстрее мысли мелькали картины, одна за другой. То он мчался верхом на тexasской лошадке по волшебной, залитой яркими красками пустыне; то он глядел, задыхаясь от жара, вниз, в белеющую гробницу Долины Смерти; то он работал веслами среди полузамерзшего моря, и кругом него высились сверкавшие на солнце огромные плавучие ледяные горы. То он вдруг лежал на берегу моря, на коралловом песке, под тенью кокосовых пальм, и прислушивался к легкому плеску прибоя. Корпус давно потерпевшего крушение судна горел синеватым пламенем, и при свете его он видел пляшущих людей. Они плясали хулу, а вокруг них певцы напевали под треньканье укулелей и грохот тамтамов полную любовного призыва песнь. Тропическая ночь дышала негой. На заднем плане на фоне звездного неба вырисовывался кратер вулкана. По небу плыл бледный двурогий месяц, а над горизонтом горел Южный Крест...

Мартин Иден словно стал эоловой арфой. Сознание его, пережитые им в течение жизни впечатления были струнами, и музыка, словно ветер, ударяла по ним и заставляла их колебаться, навевая ему воспоминания и мечты. Но он не только предавался ощущениям — он придавал им окраску, форму и сияние и силой своего смелого воображения конкретизировал их в возвышенные, волшебные образы. Прошлое, настоящее и будущее сливались в нечто единое; а он все странствовал по безграничному, ласкающему его миру, переживая необычайные приключения, совершая благородные подвиги, и направлялся к ней, — нет, он шел бок о бок с ней, побеждал ее сердце, обнимал ее и уносил с собой в волшебном полете, на крыльях своей фантазии.

А она, оглянувшись на него, прочла на его лице все эти чувства. Он весь преобразился: его широко открытые, блестящие глаза глядели куда-то вдаль, за завесу звуков, и видели позади нее биение сердца жизни, гигантские призраки фантазии. Она была поражена. Куда исчез грубый, неотесанный парень?! Правда, оставались все тот же дешевый, плохо скроенный костюм, те же огрубелые руки, то же обветренное лицо; но сквозь них, как сквозь решетки темницы, виднелась душа, великая душа, молчавшая лишь потому, что слабые уста не умели повиноваться ей. Только на одно краткое мгновение она увидела это; миг — и перед ней опять был неотесанный парень и она рассмеялась своей фантазии. Однако впечатление от этого краткого мига исчезло не сразу; и потому, когда он неуклюже встал, намереваясь уйти, она на прощание дала ему два томика — Суинберна и Броунинга; она как раз изучала Броунинга в университете. Мартин показался ей совсем еще мальчиком, когда, краснея и сконфуженно запинаясь, благодарил ее, и ее охватило чувство чисто материнской нежности и жалости к нему. Она уже не видела в нем ни грубого парня, ни духа, заключенного в темницу, ни мужчину, очаровавшего и испугавшего ее тем, что он по-мужски посмотрел на нее; она видела теперь в нем только мальчика, державшего ее руку в своей огрубевшей руке, напоминавшей терку и царапавшей ей нежную кожу, который, запинаясь, говорил:

— Это самый светлый день моей жизни. Видите ли, я не привык.. — он беспомощно оглянулся — ... к такой обстановке и к таким людям. Для меня все это ново и очень нравится мне.

— Надеюсь, вы будете заходить к нам, — сказала она, когда он прощался с ее братьями. Он натянул кепку, неловкой походкой устремился к двери и исчез.

— Ну, как ты нашла его? — спросил Артур.

— Он очень интересен, освежает, точно озон, — ответила она. — А сколько ему лет?

— Двадцать. Почти двадцать один. Я сегодня как раз спросил его, не думал, что он так молод.

«Значит, я на три года старше его», — промелькнуло у нее в голове, когда она целовала на прощание своих братьев.

ГЛАВА III

Спускаясь с лестницы, Мартин Иден быстро опустил руку в карман и вытащил оттуда коричневую рисовую бумажку и щепотку мексиканского табаку. Ловким движением он скрутил папиросу, глубоко затянулся и не сразу выдохнул дым, а медленно, как бы с сожалением выпуская его.

— Боже мой! — произнес он с каким-то благоговейным изумлением. — Боже мой! — повторил он и еще в третий раз пробормотал: — Боже мой!

Затем он поднял руку, сорвал с шеи воротничок и сунул его в карман. Моросил холодный дождик, но Мартин, не обращая на него внимания, обнажил голову, расстегнул куртку и быстро зашагал. Что идет дождь — это он сознавал лишь смутно. Он был в экстазе: перед ним мелькали мечты и видения только что пережитого им.

Наконец-то он встретился с ней — той женщиной, о которой до сих пор почти и не думал, — ведь он вообще редко думал о женщинах, — но которую всегда ждал, в смутной надежде, что, наконец, встретит ее. Он сидел рядом с ней за столом. Он ощутил пожатие ее руки, смотрел ей в глаза и видел в них отражение прекрасной души. Но не менее прекрасны были и глаза, в которых светилась эта душа, и тело, в которое она была заключена. Впрочем, он не думал о теле Рут, как о чем-то физическом, и это было ново для него, ибо до сих пор женщины интересовали его лишь с этой точки зрения. Однако на этот раз его охватило иное чувство. Он не мог поверить, что тело ее — из плоти и крови и что оно подвержено болезням и разрушению, как всякое живое тело. Для него это было нечто большее, чем оболочка ее души. Оно казалось ему эманацией ее духа, чистейшей и прелестнейшей кристаллизацией ее сущности. Сознание, что в ней есть нечто божественное, поразило его. Оно заставило его очнуться от мечтаний и вернуться к более трезвым мыслям. До этого мига его душу еще никогда не затрагивало религиозное чувство. Он не верил ни во что сверхъестественное. Он всегда был неверующим и добродушно посмеивался над священниками с их верой в бессмертие души. Он был

убежден, что загробной жизни нет; человек живет лишь на земле, а затем погружается в вечный мрак. Но теперь он увидел в ее очах душу — бессмертную душу, которая не могла погибнуть. До этих пор никто — ни мужчина, ни женщина — не сумел внушить ему представления о бессмертии. Впервые это сделала она. Она будто шепнула ему об этом в первый же миг, когда он увидел ее. Он шел по улице и видел перед собой ее лицо, бледное, серьезное, ласковое и впечатлительное; оно улыбалось ему с нежностью и жалостью, улыбалось так, как может улыбаться только ангел; от него веяло непорочностью — такой непорочностью, о которой он и мечтать не смел. Эта ее чистота поражала его, он был буквально ошеломлен ею. До этих пор он знал людей хороших и дурных, но о том, что могут быть на земле совершенно чистые существа, — об этом он и не задумывался. И теперь, при виде ее, у него появилось ощущение, что душевная чистота является высшей формой нравственного совершенства, ведущей к вечной жизни.

Тотчас же у него родилось тщеславное желание приобщиться к этой вечной жизни. Что он не достоин развязать шнурок на ее обуви — это он отлично сознавал; ведь лишь благодаря какой-то роковой фантазии, чудесному стечению обстоятельств ему удалось увидеть ее, говорить с ней, провести с ней целый вечер. Это была чистая случайность. В этом не было никакой заслуги с его стороны. За что ему подобное счастье? Его охватило чисто религиозное настроение — сознание собственного ничтожества, ощущение душевной кротости, самоунижения и приниженности. Это было именно то настроение, в котором к грешникам приходит раскаяние. Что он грешник — он сознавал ясно. Но так же, как преисполненный кротости раскаявшийся грешник, стоящий у исповедальни, мысленно заглядывает в будущую, полную гордого блаженства жизнь, так и перед Мартином мелькали видения того блаженства, которое станет его уделом, когда он будет обладать ею. Однако это будущее обладание представлялось ему в какой-то смутной, неясной форме и совершенно не похожим на обладание другими женщинами, которых он знал. Он уносился ввысь на крыльях своих честолюбивых мечтаний, поднимался вместе с ней на головокружительные высоты, делился с ней своими мыслями, вместе с ней наслаждался всем, что есть в жизни прекрасного и благородного. Ему хотелось обладать ее душой; он мечтал о чистом,

чуждом всякой физиологии обладании ею, о свободном духовном союзе, которому не мог подыскать точного определения. Но он об этом и не думал. Вообще он ни о чем не думал. Мысль уступила место эмоциям: он весь трепетал от никогда еще не испытанных чувств и с наслаждением погружался в эту волну ощущений, возвышенных и одухотворенных, которая уносила его на самые высокие вершины жизни.

Он шел, пошатываясь, точно пьяный, и благоговейно шептал вслух: — Боже мой! Боже мой!

Стоявший на углу полицейский подозрительно оглядел его; вдруг он заметил его характерную для матроса походку:

— Где насвистался? — спросил полицейский.

Мартин Иден вернулся на землю. Мозг его отличался необычайной подвижностью, он быстро приспосабливался к любой ситуации и мгновенно реагировал на самые различные обстоятельства. Услышав окрик полицейского, он вмиг опомнился и тотчас же сообразил, где находится.

— Здорово! — рассмеялся он в ответ. — Я и не заметил, что разговаривал вслух.

— Скоро запоешь, — авторитетно заявил полицейский.

— Нет, не запою. Нельзя ли спичечку? Я закурю, сяду в первый же трамвай и поеду домой.

Он закурил папиросу, пожелал полицейскому спокойной ночи и продолжал свой путь. «Ну и штука! — прошептал он про себя. — Фараон-то вообразил, будто я пьян. — Он улыбнулся и погрузился в размышления. — Да, он, пожалуй, прав, вот уж я не думал, что опьянею от женского лица!»

На Телеграф-авеню он сел в трамвай, шедший в Беркли. Трамвай был полон учащейся молодежи; молодые люди пели песни и время от времени издавали призывный клич своих колледжей. Он начал с любопытством разглядывать их. Ведь это были студенты университета. Они посещали тот же университет, что и она, принадлежали к одному с ней обществу, быть может, были знакомы с ней, могли видеться с ней каждый день, если хотели. Он удивлялся, что им этого не хочется, что они куда-то ездил веселиться вместо того, чтобы провести вечер с нею, усевшись вокруг нее и почтительно преклонившись перед ней. Мысли его унеслись вдаль. Среди студентов он заметил одного с

узенькими, как щель, глазами и чувственными губами. Он решил, что этот человек порочен. Будь он в команде на судне, он наверное оказался бы подлецом и доносчиком. Он, Мартин Иден, несомненно превосходит в нравственном отношении этого субъекта. Эта мысль придала ему бодрости, словно он таким образом приблизился к ней. Он начал сравнивать себя с этими студентами. Он вдруг ощутил всю крепкую мускулатуру своего тела и понял, что в физическом отношении все эти студенты уступают ему. Но они обладали запасом знаний, благодаря которому могли разговаривать на ее языке. Это сознание угнетало его. Впрочем, а ему-то на что дан мозг, страстно спрашивал он себя. Того, чего добились они, мог добиться и он. Ведь они изучали жизнь по книгам, между тем как он переживал ее. Ведь и у него знаний не меньше, чем у них, но только знания эти другого рода. Кто из них, например, сумел бы связать тали, стоять на руле или на вахте? Перед ним начали разворачиваться один за другим эпизоды из его жизни, полной опасностей, подвигов, лишений и труда. Он вспомнил, сколько неудач постигло его, сколько раз ему случалось преодолевать трудности, пока он еще изучал жизнь. Ну, теперь-то он ее знает основательно — и в этом его преимущество перед этими людьми. Ведь им еще предстоит начать самостоятельную жизнь и пройти через то горнило, через которое уже прошел он. Ладно, пока они будут заняты этим, он может изучать по книгам другую сторону жизни.

Трамвай, между тем, уже достиг сравнительно пустынной полосы, с разбросанными там и сям домами, которая разделяет предместья Окленд и Беркли. Мартин ждал, когда покажется знакомый двухэтажный дом, на фасаде которого горделиво красовалась вывеска «Бакалейная торговля Хиггинботам». На углу он вышел и посмотрел на вывеску. Она являлась для него известным символом — символом мещанского эгоизма и мелкого жульничества, которым, казалось, так и веяло от каждой ее буквы. Бернад Хиггинботам был мужем его сестры, и он хорошо знал его! Мартин открыл дверь своим ключом, вошел и поднялся по лестнице на второй этаж. Там жил его зять. Лавка же находилась внизу. В воздухе носился запах гнилых овощей. В темной прихожей, где Мартину пришлось брести ощупью, он натолкнулся на игрушечную тележку, брошенную кем-то из его многочисленных племянников или племянниц, и с грохотом ударился о

дверь. «Мелочная экономия, — подумал он. — Так скуп, что боится сжечь газу на два лишних цента; ему нипочем, если его жильцы сломают себе шею».

Мартин нащупал ручку двери и вошел в освещенную комнату, в которой сидели его сестра и Бернард Хиггинботам. Она чинила его брюки, а он растянулся своим тощим телом на двух стульях; ноги его, обутые в поношенные мягкие туфли, свешивались через край второго. Хиггинботам взглянул на Мартина поверх газеты, которую читал, своими темными, пронизательными, лживыми глазами. Мартин не мог без отвращения смотреть на него. Что нашла его сестра в этом человеке, он не мог понять. Хиггинботам всегда представлялся Мартину каким-то гадом, которого ему хотелось раздавить ногой. «Вот возьму как-нибудь и расквашу ему морду», — иногда утешал он себя за то, что до сих пор терпел близость этого человека. Теперь эти острые и злые, как у хорька, глаза укоризненно смотрели на вошедшего.

— Ну, в чем еще дело? — спросил Мартин. — Выкладывай.

— Недели нет, как я эту дверь выкрасил, — не то хнычущим, не то угрожающим голосом произнес мистер Хиггинботам, — а ведь ты сам знаешь, что платить за работу приходится теперь по ставкам союзов. Надо быть осторожнее.

Мартин собрался было ему ответить, но понял, что это безнадежно. Он отвел взгляд от этого человека, готового удавиться за грош, и устремил его на литографию, висевшую на стене. Что-то в ней поразило его. Раньше она нравилась ему, но сейчас ему показалось, будто он впервые ее видит. Он вдруг понял, в чем дело: это была дешевая вещь, как и все в этом доме. Мысли его перенеслись в квартиру, которую он только что покинул. Он увидел сначала картины в комнатах, а потом ее и вспомнил нежный взгляд, которым она окинула его, когда на прощание подала ему руку. Он забыл все окружающее, забыл даже о существовании Бернарда Хиггинботама, как вдруг почтенный торговец спросил:

— Ты что это — привидение увидел, что ли?

Мартин подошел к нему и посмотрел ему в глаза — в эти маленькие, точно бусинки, глаза, насмешливые, хвастливые и трусливые, — и в этот миг ему, точно на экране, представились те же самые глаза и их выражение в тот момент, когда Хиггинботам лебезил

перед покупателем в лавке: тогда они становились масляными и выражали угодливость, лесть, низкопоклонство.

— Да, — ответил он. — Я увидел привидение. Покойной ночи. Покойной ночи, Гертруда.

Он вышел из комнаты, но по дороге чуть не упал, зацепившись ногой за край поношенного ковра.

— Смотри, не хлопни дверью, — предупредил его мистер Хиггинботам.

Мартин почувствовал, что в нем закипает кровь, но сдержался и тихо закрыл за собой дверь.

Мистер Хиггинботам с торжествующим видом посмотрел на жену.

— Он пьян, — хриплым шепотом заявил он. — Я говорил тебе, что он напьется.

Она покорно кивнула головой.

— Глаза у него здорово блестели, — согласилась она, — да и воротничка на нем уже не оказалось, хотя ушел-то он в воротничке... Но, может быть, он выпил всего стаканчик-другой?

— Он на ногах не стоит, — упорствовал ее муж, — я следил за ним. Он даже не мог по комнате пройти, не споткнувшись. Сама, надеюсь, слышала, что он чуть не свалился в прихожей.

— Да это он, кажется, о тележку Алисы споткнулся, — сказала она, — не увидел ее в темноте.

Мистер Хиггинботам начал злиться и постепенно повышать голос. В лавке ему приходилось целый день сдерживать себя, и только вечером, в кругу семьи, он мог позволить себе удовольствие становиться самим собой.

— Говорю тебе, что твой ненаглядный братец пьян.

Голос его звучал резко, холодно, безапелляционно; слова слетали у него с языка, точно их чеканила и выбрасывала какая-то машина. Жена его вздохнула и промолчала. Это была высокая, полная женщина, всегда небрежно одетая, вечно склонявшаяся под тройным бременем тучности, домашней работы и деспотизма мужа.

— Я тебе говорю, он в отца пошел, — продолжал мистер Хиггинботам тоном обвинителя. — И он точно так же окочурится, как и старик, вот помяни мое слово. Сама, небось, видишь!

Она кивнула головой, вздохнула и продолжала шить. Супруги оба пришли к согласию, что Мартин вернулся пьяным. Души их были

лишены способности понимать красоту, иначе они поняли бы, что блестящие глаза и пылающее лицо свидетельствовали о первой юношеской любви.

— Нечего сказать, хороший пример детям, — фыркнул вдруг мистер Хиггинботам, нарушая молчание, наступившее по вине его жены, которым он тяготился. Порой он готов был сожалеть, что она так мало возражает ему.

— Если он еще раз явится в таком виде, то пусть лучше убирается от нас. Поняла? Не потерплю я такого безобразия, чтобы он в пьяном виде дебоширил при невинных детях!

Мистеру Хиггинботаму нравилось новое словечко: он недавно вычитал его в газете и заучил.

— Да, это чистый дебош — вот что это такое!

Жена опять вздохнула, огорченно покачала головой и продолжала работать. Мистер Хиггинботам снова взялся за газету.

— Он уплатил за стол и комнату за прошлую неделю? — спросил он, выглядывая из-за газеты.

Она утвердительно кивнула и затем добавила:

— У него еще есть деньги.

— Когда он опять отправляется в плавание?

— Наверное, когда истратит все, что заработал за прошлый рейс, — ответила она. — Вчера он ездил в Сан-Франциско, искал судно, куда бы поступить на службу. Но у него еще водятся деньги и потому он очень разборчив.

— Скажите, пожалуйста! Всякий матросишка еще важничать будет! — опять фыркнул мистер Хиггинботам. — Разборчив, тоже! Он-то!

— Он что-то говорил про шхуну, которая готовится к отплытию в какие-то чужие страны — искать зарытый клад; сказал, что поедет на ней, если у него хватит денег дотянуть до дня ее выхода в море.

— Если бы он решил остепениться, я дал бы ему работу — разъезжать с фургоном, — сказал ее муж далеко не доброжелательным тоном. — Том ушел от меня.

Жена поглядела на него с тревожно-вопросительным выражением в глазах.

— Сегодня ушел. Поступает к Коррузерсам. Они обещают ему жалованье, которое я не в состоянии платить.

— Я тебя предупреждала, что придется с ним расстаться, — воскликнула она. — Ты слишком мало платил за его работу.

— Слушай, старуха, — с угрозой в голосе проговорил мистер Хиггинботам, — в тысячный раз говорю тебе, чтобы ты не совала нос не в свое дело. В последний раз повторяю.

— Мне все равно, — захныкала она. — Том был хороший мальчик.

Муж со злостью взглянул на нее, это была неслыханная с ее стороны дерзость.

— Если бы этот твой брат хоть грош стоил, он сам взялся бы ездить с фургоном, — буркнул он.

— Да ведь он же платит за стол и комнату, — последовал ответ. — И он мне брат, а раз он тебе ничего не должен, нечего и приставать к нему. Да и я могу, наконец, возмутиться, хотя и живу с тобой целых семь лет.

— Ты ему сказала, что он должен платить за лишний газ, если будет читать по ночам? — спросил он.

Миссис Хиггинботам не ответила. Ее возмущение угасло, уступив место усталости. Муж торжествовал. Он уничтожил ее. Глаза его горели злобным огнем, а слух наслаждался тихими всхлипываниями, которые порой вырывались у нее. Ему доставляло огромное удовольствие смирять ее; в последнее время это удавалось ему все легче, не то что в первые годы их совместной жизни, когда многочисленные дети и его постоянные придирки еще не успели надломить ее сил.

— Ну, так завтра же скажешь ему, — заявил он, — и вот что я еще хотел сказать тебе, чтобы не забыть: пошли завтра за Мэриен, чтобы она присмотрела за детьми. Раз Тома нет, то ездить с фургоном придется мне, а ты приготовься сидеть за прилавком.

— Да ведь завтра стирка, — слабо попыталась она возразить.

— Ну, тогда встань пораньше да и выстирай все. Я выведу около десяти.

Сердито зашуршав газетой, он вновь принялся за чтение.

ГЛАВА IV

Мартина все еще душила злость после встречи с зятем; он дрожал, когда, направляясь к себе, пробирался ощупью по темному коридору. Комната его представляла собой тесную каморку: в ней помещались только кровать, умывальник и стул. Мистер Хиггинботам был слишком скуп, чтобы нанимать прислугу — ведь работу прислуги могла выполнять его жена. К тому же он мог сдавать внаем комнату, предназначенную для прислуги, и держать, таким образом, двух жильцов вместо одного.

Мартин положил Суинберна и Броунинга на стул, снял куртку и уселся на кровать. От тяжести его тела пружины издали хриплый звук, словно одержимые астмой, но он ни на что не обращал внимания. Он начал было снимать башмаки, но вдруг загляделся на выбеленную стену, измазанную в тех местах, где протекала крыша, грязно-коричневыми полосами от дождя. По этому, далеко не прекрасному, фону замелькали перед ним лучезарные видения. Он совсем забыл про башмаки и долго-долго смотрел перед собой; наконец, губы его зашевелились и прошептали: — Рут!

— Рут! — Он не представлял, чтобы в простом сочетании звуков могло бы заключаться столько красоты. Это слово ласкало его слух; он повторял его и упивался им: «Рут!» Это был талисман, магическая формула, способная совершать чудеса. Всякий раз, как он произносил это слово, перед ним вставал ее образ, озаряя золотым сиянием грязную стену. И не только стена была озарена им: лучи от него проникали в бесконечность, и душа Мартина устремлялась сквозь этот блеск к ее душе. Все лучшее, что было в нем, волшебным потоком изливалось наружу. Самая мысль о ней уже возвышала и очищала его, приближала его к совершенству и возбуждала в нем стремление к добру. Это было ново для него. Никогда еще он не встречал женщины, под влиянием которой становился бы лучше. Наоборот, женщины обычно превращали его в животное. Он не знал, что многие отдавали ему свое самое лучшее, что в них было, как ни убого было это лучшее. Он никогда не отличался самомнением, а потому не знал, что,

несмотря на свою молодость, обладает даром привлекать женщин. Он никогда не страдал из-за женщин, хотя не одна страдала из-за него; ему и во сне не снилось, что под его влиянием некоторые из них становились лучше. Он всегда относился к ним с пренебрежением, и ему казалось, что они всегда оскверняли его первыми, приставая к нему и стараясь удержать нечистыми цепкими руками. Он не был прав ни по отношению к ним, ни по отношению к себе. Но в тот момент, когда он впервые начинал познавать себя, он не мог еще правильно обо всем судить и потому весь вспыхивал от стыда, вспоминая о своей порочности.

Вдруг он вскочил и начал разглядывать в запыленном зеркале над умывальником свое лицо. Протерев его несколько раз полотенцем, он долго и внимательно смотрел на свое изображение. Впервые он как следует увидел самого себя. Хотя он был зорким и наблюдательным, он до сих пор слишком много внимания уделял вечно меняющейся панораме внешнего мира. В зеркале он увидел лицо двадцатилетнего юноши; но так как он вообще не привык обращать внимания на внешность, он и теперь не мог решить, красив он или нет? Он увидел выпуклый лоб, над ним шапку слегка волнистых темно-каштановых волос: эти кудри восхищали не одну женщину, всегда вызывая желание погладить их, провести по ним пальцами. Но он решил, что на нее его волосы не могут произвести никакого впечатления; зато он долго и внимательно рассматривал свой высокий, выпуклый лоб, стараясь угадать, насколько ценно то, что за ним скрывается. Стоил ли чего-нибудь его мозг, упорно спрашивал он себя. Что он может дать? Чего он может добиться и поможет ли он ему добиться ее?

«Видна ли душа в этих серо-стальных глазах?» — задавал он себе вопрос. Порой они становились совершенно голубыми, отражая синеву морской глади. Его интересовало, какими его глаза казались ей. Он старался поставить себя на ее место и вообразить, что она заглядывает ему в глаза, но это ему не удавалось. Он очень хорошо понимал психологию людей, но только тех, чей образ жизни был ему знаком. А как жила она — этого он не знал. Для него она была чудом и тайной, и он совершенно не мог угадать ее мыслей. Ну, во всяком случае, у него честные глаза, решил он; в их взгляде не чувствуется ни мелочности, ни низости. Его поразил темный загар собственного лица. Он никогда не думал, что так смугл. Засучив рукав рубашки, он

сравнил цвет кожи на нижней поверхности руки с цветом лица. Нет, все-таки он принадлежит к белой расе. Но и руки у него загорелые. Он повернул руку и нажал на мускулы другой рукой так, чтобы разглядеть место под мышкой, которое меньше всего было затронуто загаром. Кожа здесь была совсем белая. Он засмеялся при мысли о том, что когда-то и лицо у него было такое же белое; и ему не пришло в голову, что не многие женщины — или даже бледные духи — могут похвастаться такой чистой и гладкой кожей там, где она не подвергалась губительному действию солнца.

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію книги.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ